

Смерть Вазир-Мухтара

Автор:

Юрий Тынянов

Смерть Вазир-Мухтара

Юрий Николаевич Тынянов

Юрий Николаевич Тынянов во всех своих произведениях умеет передать живое ощущение описываемой им эпохи. «Смерть Вазир-Мухтара» – один из самых известных романов Юрия Тынянова. В нем он рассказал о последнем годе жизни великого писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, о его трагической гибели в Персии, куда он был отправлен в качестве посла. Также в сборник вошли повесть «Восковая персона» и рассказы «Подпоручик Кижэ» и «Гражданин Очер».

Юрий Тынянов

Смерть Вазир-Мухтара

Взгляни на лик холодный сей,

Взгляни: в нем жизни нет;

Но как на нем былых страстей

Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев,

Над бездною висит,

Утратив прежний грозный рев,

Храня движенья вид.

Евгений

Баратынский

На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа – восставшие бежали по телам товарищей – это пытали время, был «большой застенок» (так говорили в эпоху Петра).

Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга.

Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем: «империя каталогов», и добавлял: «блестящих».

Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это «совестью» и «воспоминанием».

И были пустоты.

За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась.

Дети были моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоеванных пленных, суетясь, дорожась (но не прыгая), они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом.

Дуло два ветра: на восток и на запад, и оба несли с собою: соль и смерть отцам и деньги – детям.

Чем была политика для отцов?

«Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдем на Медведя»– так говорил декабрист Лунин.

Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя – он был легок.

Бунт и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть, от бунта и женщин.

Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь.

«Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: „Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!“

Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец двадцатых годов.

И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок.

Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых, – у них был такой «масонский знак», взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская.

Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились над таким словом, как «камер-юнкер» или «аренда», и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарем своих детей и младших братьев. Легко умирать за «девчонок» или за «тайное общество», за «камер-юнкера» лечь тяжелее.

Людам двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы.

Что дружба? Что любовь?

Дружбу они обронули где-то в предыдущем десятилетии, и от нее осталась только привычка писать письма да ходатайствовать за виноватых друзей – кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин.

Над женщинами в двадцатых годах шутили и вовсе не делали тайн из любви. Иногда только дрались или умирали с таким видом, как будто говорили: «Завтра побывать у Истоминой». Был такой термин у эпохи: «сердца раны». Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчету.

В тридцатых годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками двадцатых годов оказался добросовестным и ребяческим, тайные общества показались «сотней прапорщиков».

Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими собаками!

Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут.

Время бродило.

Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения.

Было в двадцатых годах винное брожение – Пушкин.

Грибоедов был уксусным брожением.

А там – с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары.

Запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросе (амбра – отброс морского животного), и самый тонкий запах ближе всего к вони.

Вот – уже в наши дни поэты забыли даже о духах и продают самые отбросы за благоухание.

В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов. Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных империй.

Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение.

Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна.

Он протянул руку за очками, к столику.

Он не думает, не говорит.

Еще ничего не решено.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шаруль бело из кана ла садык[1 - Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта иль-Мутанаббия (915–965). Источник указан академиком И. Ю. Крачковским.].

1

Еще ничего не было решено.

Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед; от этого нос и губы у него вытянулись гусем.

Странное дело! На юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так потягивался, прислушивался к отчету дому: встала ли маменька? язвит ли уже папеньку? По ошибке влетела догадка: не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели, звать с собою по гостям.

Чего он хлопотал с этой своей палкой?

И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнув носом под одеялом.

Конечно, тотчас же опомнился.

Протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки.

Он спал прекрасно: ему хорошо спалось только на новом месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом, он превосходно провел ночь, как на покойном постоялом дворе, зато поутру как бы угорел от тайного запаха, которым недаром полны отчие дома.

Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер пять лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве.

Войти он, стало быть, не мог.

Скончался в свое время и папенька.

Но все же раздавались отчие звуки.

Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи, через деревянные стены. У татапа в будуаре маятник всегда ходил как бешеный.

Затем шваркающий звук, и кто-то плевал.

Значение звука он долго не мог определить.

Потом затаенный смех (несомненно, женский), шварканье приостановлено и наконец с новой силой вновь началось. Кто-то вполголоса зашикал из дверей, трюхнул жидкий, дрянненький колокольчик – это, безо всякого сомнения, из маменькина будуара. И стало понятно значение шварканья и плеванья, а также смеха: Александр чистил его сапоги, плевал и толкал под бок маменькину девку.

Александр вообще проявлял в доме за этот последний приезд необыкновенную наглость: он налетел, как персидский разбойник, на господский дом, взял его приступом, он говорил: «мы», брови у него разлетались, ноздри раздувались, белесые глаза стали глупыми. Он был даже величествен.

Так, он вздумал, что «Александр Сергеевич не могут, чтобы ему чистить платье в людской», ночевал наверху – и вот теперь тискал девушку.

Все же Александр Сергеевич улыбнулся, потому что любил Александра. Александр напоминал лягушку.

Маменька опять трюхнула колокольцем, оберегала его покой от Сашки, а сама ведь тем будила его, несносно.

Тогда, как бы из озорства, из желания передразнить ненавистный маменькин звук, он протянул руку и тоже трюхнул в колокольчик. Звук получился столь же мерзкий, как и у маменьки, но более громкий. И трюхнул еще раз.

Вошел крадучись, извиваясь змеем, шаркая туфлями, Александр. Походка его напоминала походку дервиша в «Страстях Алиевых». На вытянутых руках он нес

платье, как жертву божееству, как его уже был смазан квасом и завит. Удивительно глупая улыбка явилась перед Грибоедовым. Он с удовольствием смотрел, как складывал Александр тонкое черное платье на табурет и обрядовым жестом сложил вровень обе штрипки от брюк.

Так они и молчали обыкновенно, любясь друг другом.

– Подай кофе.

– Каву-с? Мигом, – щеголяя персидским словом, Сашка составил в ряд длинные острые носы штиблет.

(«Тоже, кафечи. Нашел дурак, перед кем хвастать».)

– Карету от извозчика заказал?

– Ждет-с.

Александр, кланяясь носом на каждом шагу, пошел вон.

Как затравленный, унылый зверь, Грибоедов смотрел на свое черное платье.

У самого борта сюртука он заметил пылинку, снял ее и покраснел. Он не хотел думать о том, что вскоре здесь засияет алмазная звезда, и между тем даже со всею живостью представлял ее как раз на том месте, где стер пыль.

Кофе.

Быстро он оделся, с отчаянностью решился, прошел к маменькину будуару и стукнул как деревянным пальцем в деревянную дверь.

– Entrez?[2 - Войдите? (фр.)]

Изумление было фальшиво, повышение было взято в вопросе на терцию выше, чем следовало бы, голос тапан был сладостным dolce[3 - Нежно (ит., муз. термин).] в его нынешний приезд, медовым dolce.

Склонив покорные длинные ресницы, он прошел сразу же через много запахов: пахли патки с одеколоном, серные частицы, можжевеловые порошки.

Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими патками, не седыми, а бесцветными.

Она в лорнет, прищурясь, смотрела на Александра. Взгляд был слегка плотояден. Чин статского советника был обещан Александру.

– Как вы спали, мой сын? Ваш Сашка второе утро всех будит.

Второе утро он хотел удрать из дому. На этот раз он решился, и, по-видимому, предстояло объясниться. Удирал он в Петербург, собственно даже не удирал – он вез Туркменчайский мир в Петербург и мог только проездом остановиться дня на два в Москве, но маменька надулась вчера, когда Александр сказал, что утром едет, – он мог бы еще задержаться на день в Москве. Он и задержался. Она смотрела на сына в этот раз по-особому.

Настасья Федоровна прожилась.

Была ли она мотовкой? Она была жадна. Все же деньги плыли сквозь пальцы, сыпались песком – и опять начинали трещать углы, обсыпаться дом; в самом воздухе стояло разорение; все вещи были налицо, но дом пустел.

Настасья Федоровна была умна, хозяйка, мать – куда девались деньги? Самый воздух грибоедовского дома как бы ел их. Уже мужики были высосаны до последней крайности. Пять лет назад они подняли бунт, восстание, и их умирjali оружием. Все же, несмотря на победу, губернатор заезжал, пил чай и предупреждал, что желательно не иметь более восстаний.

Александр прекрасно понимал значение голоса и лорнета. Медовое legato⁴ – Связно, плавно (ит., муз. термин).] было приглашением поговорить. Александр заговорил. С некоторым презрением он слышал в своей речи излишек выразительности, он как бы заражался ее речью.

Все это, разумеется, должно было кончиться скандалом и сорваться; и мать и сын, зная это, оттягивали.

Мать не знала, чего хочет сын. Он мог остаться на Москве, мог служить в Петербурге, а то и получить назначение в ту же Персию. Перед ним, разумеется, нынче все открыто: таким дипломатом он показал себя. Мать списалась уже с Паскевичем, женатым на племяннице, у которого служил Александр; Паскевич, чувствительный к тому, чтоб его окружали обязанные родственники, выдвигал Александра. Он посоветовал Настасье Федоровне брать Персию.

Так решали за его спиной, как за маленького; хуже всего, что он знал об этом. Мать догадывалась: как только она заговорит о Персии, Александр станет перечить, между тем он, может быть, и сам хочет Персию.

Персия была выгодна в первую голову деньгами, и чином, и начальством Паскевича; в Москве, тем паче в Петербурге, дело другое и служба другая. Ни Персия, ни Петербург не были ясны для Настасьи Федоровны – это были места, куда годами проваливался Александр; как бы уехал на службу и не возвращался не четыре часа, а четыре года. Собственно, она не говорила даже: «Александр в Персии» или «на Кавказе», но: «Саша в миссии». Миссия – была учреждение, и так было покойнее, устойчивее. Она понимала только Москву и все же не хотела, чтобы Саша оставался в Москве.

– Ты сегодня дома обедаешь?

– Нет, татап, я приглашен.

Он не был приглашен, но не мог себя принудить обедать дома. Обеды были, признаться, дурные.

Настасья Федоровна шаловливо посмотрела в лорнет.

– Опять кулисы и опять актрисы?

Его мать, говорящая о его женщинах, была оскорбительна.

– У меня дела, матушка. Вы всё меня двадцатилетним считаете.

– В Петербург, вижу, не так уж торопишься.

- Напротив, завтра же утром и выезжаю.

Она любовалась им в лорнет.

- Где же твой Лев и твое Солнце? Александр осторожно усмехнулся.

- Лев и Солнце, маменька, уже давно покоятся у ростовщика в Тифлисе. У меня был долг. Сослуживцу задолжать избави боже.

Она отвела лорнет.

- Уже?

Заложенный орден давал ей превосходство. Разговор был неминуем.

- Сборы твои не слишком скоры?

Она суетливо взбила патку на левом виске.

- Нет. Я, собственно, не имею права более одного дня медлить. Я и так задержался. Дело не шуточное.

- Я не об этих сборах говорю, я говорю о том, что ты собираешься делать.

Он пожал плечами, взглянул себе под ноги:

- Я, право, не подумал еще.

И поднял на нее совсем чужое, не Сашино лицо: немолодое, с облезшими по вискам волосами и пронзительным взглядом.

- Это зависит от одного проекта...

Она забилась испуганно прозрачными завитушками на лбу и снизила совершенно голос, как сообщник:

– Какого проекта, мой сын?

– ...о котором, татап, рано говорить...

Казалось бы, победил. А вот и нет, начиналась патетика, которая была горше всего.

– Alexandre, я вас умоляю, – она сложила ладони, – подумайте о том, что мы на краю... – Глаза ее стали красноваты, и голос задрожал, она не закончила.

Потом она обмахнула платочком красные глаза и высморкалась.

– И Jean, – сказала она совершенно спокойно о Паскевиче, – мне писал: в Персию. В Персию, да и только.

Последние слова она произнесла убежденно.

– Впрочем, я не знаю: может быть, ты, Саша, рассудил даже заняться здесь журналами?

Очень мирно, но, боже, что за legato! И Jean, и Персия, и все решительная дичь: не хочет он в Персию, и не поедет он в Персию.

– Я сказал Ивану Федоровичу, что прошу представить меня только к денежному награждению. Я все предвидел, маменька.

Опять посмотрел на нее дипломатом, статским советником, восточным царьком.

– Я же, собственно, расположен к кабинетной жизни. А, прочем, увижу...

Встал он совершенно независимо:

– Я пойду. Домой я сегодня буду поздно.

Перед самым порогом спасения Настасья Федоровна остановила его, прищурясь:

– Ты возьмешь каретку?

Он был готов ездить решительно на всем: на дрожках гитарой, на щеголеватом купеческом калибре, но только не в семейственной каретке.

– За мною прислал карету Степан Никитич, – он солгал.

– А.

И он спасся к парадным сеням, через первую гостиную – светло-бирюзовую и вторую гостиную – голубую, любимые цвета Настасьи Федоровны. В простенках были зеркала, а также подстольники с бронзой и очень тонким, вследствие сего вечно пыльным, фарфором; но и простым глазом было видно, что люстры бумажные, под бронзу. Чахлую мебель покрывали чехлы, которые здесь были со дня, как помнил себя Александр. В диванной он помедлил. Его остановил трельяж, обвитый плющом по обе стороны дивана, и две горки а 1а помпадур.

Глупей и новей нельзя было ничего и представить, новые приобретения разорявшейся Настасьи Федоровны.

И карсель на одном столе, чистой бронзы.

Он постоял в углу у двери, перед столбом, который вился жгутом, столбом красного дерева, который загибался кверху крючком и этим крючком держал висящий фонарь с расписными стеклами.

Все было неудавшаяся Азия, разорение и обман.

Не хватало, чтобы стены и потолок были оклеены разноцветными зеркальными кусочками, как в Персии. Так было бы пестрее.

Это был его дом, его Heim[5 - Домашний очаг (нем.)], его детство. И как он все это любил.

Он устремился в сени, накинул плащ, выбежал из дому, упал в карету.

Озираясь с некоторым любопытством, он получил впечатление, что движение совершается кругообразно и без цели.

Одни и те же русские мужики шли по мостовой – взад и вперед.

Щеголь пронесся на дрожках от Новинской площади, и сряду такой же в противоположную сторону. Впрочем, он понял, в чем здесь дело: оба щеголя были в эриванках.

Не успели еще взять Эривани, как московские патриоты выражали уже свою суетность, напялив на головы эти круглые эриванки.

Нет, для Москвы, любезного отечества, не стоило драться на Закавказье, делать Кавказ кладбищем и гостиницей.

Пересек Тверскую, поехал по Садовой. Подозрительно грязны и узки были переулки, вливавшиеся в главные улицы. Карета свернула. Точно в Тебризе, где рядом с главной улицей грязь первозданная, а мальчишки ищут друг у друга вшей. Торчали колокольни. Они походили на минареты.

Он поймал себя на азиатских сравнениях, это была лень ума.

Все эти безостановочные дни, что он в какой-то лихорадке стяжания торговался с персами из-за каждого клок земли в договоре, что он мчался сюда с этим договором, имевшим уже свою кличку: Туркменчайский, – чтобы везти его сразу же, без промедления, в Петербург, – он двигался по всем направлениям, расточал любезность, ловкость, он хитрил, скрывал, был умен и даже не задумывался над этим всем, так уж шло.

Нынче же, под самым Петербургом, он осел; Москва его наспех проглотила и как бы забыла. Он начинал за эти два дня бояться, томиться, что не довезет мира до Петербурга, – боязнь детская и неосновательная.

Стоял печальный месяц март. Снег московский, внезапное солнце, а то и тень, скука – в два дня – дома, на улицах еще скучнее – не давали сосредоточиться. Все это было вроде арабесков, как он их созерцал в бессонные ночи под Аббас-Абадом, во время переговоров, что идешь, идешь за линией, натыкаешься на препону, и путаница. Как сильно действовала на него хорошая и дурная погода: на солнце он был мальчиком, в тени стариком.

Страшно подумать: рассеянность и холод коснулись даже проекта; он не был больше уверен в нем, даже напротив, проект, без сомнения, поскользнется... Прохожий фронт поскользнулся, долго брыкал и потом оглядывался, не смеются ли.

Он и выезжал теперь с этой жаждой, с этим тайным намерением: выловить где-то на улицах решение.

Он растерял свои годы по столбовым дорогам, изъездил их – и вот теперь ловил свою молодость по переулкам.

Так обессиливала его Москва.

В последний день он решил объехать знакомых. Решения он на улицах не находил никакого. Просто был март: то солнце, то тень, много прохожих русских мужиков, толкущихся на одном месте. У них были одинаковые лица – все те же, что шли вперед, возвращались назад. Гнались друг за другом русские мальчишки со здоровым, беспричинным ревом.

И одна за другой плелись кареты, дрожки. Может быть, каждая отдельно и шла быстро, даже мчалась, но все вместе они плелись. Лошадь задрала голову из цепи.

У него промелькнула безобразная фраза: «Лошади здесь сродни черным мулам», – фраза для азиатского Олеария.

Никто на него не обращал внимания.

С огорчением он заметил, что это именно уязвляло его. Он отлично знал, что главная встреча предстоит в Петербурге, да и в Москве его встретили

торжественно. Все же ему было неприятно, что, проскакав месяц, везя в своих бумагах достославный, пресловутый Туркменчайский мир, в этот день он был оставлен в Москве на самого себя.

Это было ребячеством.

Щеголи в крылатках, в эриванках, воздушные, как бабочки, казались существами из особого мира. Все нынче на Москве было заражено легкостью, бойкостью. Очень все молодеваты стали. И ненадежны. Казалось, что дрожки с пролетным франтом сейчас полетят по воздуху, оставив внизу салопницу и мужика, несущего на голове бочонок сельдей и, как тяжким маятником, качающего рукой.

Но франта теснили лошадиные морды, и из толпы упорно выплывал все тот же мужик, с механической грацией качавший туловищем и рукою.

Он нес на голове бочонок и поэтому балансировал, как балерина.

Даже у московских мужиков за два года, что он не был в Москве, исчезла медвежеватость, даже салопницы были охвачены движением – те же самые шли вперед и возвращались назад.

Так ему казалось, он был близорук.

Навстречу медленно, как во сне, равнодушно, как на театре, проплыл мужик, в санях не по времени. Ехал он по Садовой, как по деревне.

Он плыл с открытым ртом, не думая, не чувствуя, с неопределенной сосредоточенностью глядя вперед. А рядом в дрожках ехал Макниль.

Он испугался, как это просто он рядом с мужиком отметил доктора Макниля.

Все совершается непоследовательно, но просто: по улице едет мужик, и почти рядом с ним англичанин, главный доктор тебризской миссии, Макниль.

Он жадно посмотрел в ту сторону, но Макниля не было, а был толстый полковник с собачьими баками.

Однако как он сюда попал? Если Макниль поехал в Россию, он должен бы об этом знать. Впрочем, доктор, может быть, действовал прямо через Паскевича. Однако Паскевич должен бы и в этом случае его предупредить.

Хотя, что же в этом он находит особого?

И, может быть, это вовсе не Макниль.

Он пожал плечами с неудовольствием. Лицо англичанина так ему примелькалось в Тебризе, что он родную мать вскоре за него примет. Он снял очки и сердито протер их кружевным платком. Глаза без очков смотрели в разные стороны.

Кучер остановил карету на Пречистенке, у Пожарного депо.

З

Уже самый дом несколько поражал своей наружностью, он вдвигался в сад. Корпус был приземист, окна темноваты, парадная дверь тяжела и низка. Здесь жил теперь отставной Ермолов.

Дверь глядела исподлобья, подавалась туго и готова была каждого гостя вытолкнуть обратно, да еще и прихлопнуть. Особенно его.

Тот любезный, искательный Ермолов, который при Александре владел Кавказом, замышлял войны, писал нотации императору, грубиянствовал с Нессельродом, более не существовал, не должен был, по крайней мере. Каков же был теперешний, в этом доме?

Отношения с Ермоловым за два последних года были мучительны. Вернее, их не было. Они избегали друг друга.

Когда Николай взял приступом дворец, он почувствовал себя сиротливо, выскочкой – parvenue. Тогда стали рыться в разговорах и нумеровать шепоты. Оказалось, между прочим, что на Кавказе сидело косматое чудище – проконсул

Кавказа, хрипело, читало нотации и т. д. Показалось, что он хочет отложиться, отпасть от империи, учредить Восточное государство. Ждали, что он после декабря пойдет на Петербург. Его окружали подозрительные люди. Он вел свою линию на Востоке, следовало его убрать.

Вскоре началась война с Персией. Старик попробовал буркнуть на Петербург, вмешивающийся в его военные дела. Но его время прошло, как и его дела.

Империи более не требовались тучность полководцев и быстрота поэтов.

К нему приставили дядькой Паскевича.

Паскевич умел подчиняться и любил подчиняющихся.

Он терпеливо доносил на Ермолова и объяснял Николаю, что лучше всего назначить главнокомандующим его и отрешить Ермолова.

Персидские дела пошли и того хуже. У персов был полководец горячий – Аббас-Мирза. Русские военачальники грызлись.

Вскоре на них обоих прислали еще старшего. Дибич был уже совсем крошкой, рыжая, пылкая, нечистоплотная фигурка.

Ермолов смотрел исподлобья, Паскевич ел глазами, Дибич косил в землю.

Он боялся, что над ним смеются.

Дибич написал императору, что нужно сместить и старика и молодого, а поставить человека средних лет.

Сам он, однако, от этого ничего не выиграл, вернулся восвояси. Выиграл Паскевич. Ермолова уволили, как были уже уволены двадцатые годы вообще.

Всех его помощников, после войны, тоже убрали на покой. Образовалась как бы ермоловская партия – недовольных генералов.

Бренча саблями или, если уж они были в отставке, просто дергая плечами, они хрипели вокруг низверженного монумента.

Они собирались в Москве к нему на Пречистенку, как тамплиеры в храм, как христиане в катакомбы. И монумент их благословлял.

Выбитый из оси, на которой он двигался тридцать восемь лет службы, он врос в землю. Он устанавливал одним примером из тактики превосходство Наполеона над Ганнибалом, одним русским словом уничтожал значение занесшегося николаевского выскочки. Тихо трепеща канителью эполет и волоча ноги, проходили перед ним генералы, опираясь по-отставному на палки.

Война кончилась; Аббас-Мирза, величайший азиатский полководец и дипломат, был сломлен. В Петербурге ждали Туркменчайского мира.

Генералы знали: война выиграна бездарно. Паскевича в деле и не видали, все сделали Вельяминов и Мадатов, а он только имя свое приложил. А потом надоносил, представил в ложном свете и обоих выгнал. Генералов в двадцатом веке называли бы пораженцами.

Но Грибоедов – он-то что же приложил свое имя к Паскевичу?

Здесь начинался неприятный провал, смутная область.

Было подозрительно, как вдруг стал блистателен стиль Паскевича, который не знал грамоты: даже в партикулярной переписке вместо буки-азба у него появилась решительная красота и стройность. Кто-то ему помогал. Неужели Грибоедов?

Ведь Грибоедов, при первом известии о посылке дядьки, говорил генералам:

– Каков мой-то холуй? Как вы хотите, чтобы этот человек, которого хорошо знаю, торжествовал над нашим? Верьте, что наш его проведет, и этот, приехав впопыхах, уедет со срамом.

Грибоедов же был питомец старика. Питомец не сморгнул глазом, когда полководца уволили; остался цел и невредим, а потом вознесся.

И неужто причиной было ничтожное обстоятельство, что он был свойственник Паскевичу?

Один генерал сказал о нем со вздохом:

– Его замутил бес честолюбия. Господа, ему тридцать два года. Это, по Данту, середина жизни или около того. Это эра, когда в ту или иную сторону человека мутит.

Ермолов же тогда посмотрел, и на лице его не отразилось ничего.

Старый слуга равнодушно встретил пришедшего в сенях и проводил наверх, в кабинет хозяина.

Кабинет был невелик, с темно-зеленой мебелью. Наполеон висел на стенах во многих видах, всюду мелькали нахмуренные брови, сжатые крестом руки, треугольная шляпа, плащ и шпага.

Слуга усадил Грибоедова и спокойно пошел вон.

– Они занимаются в переплетной, сейчас доложу. Что еще за переплетная?

Ждать пришлось долго. В этом не было ничего обидного, хозяин был занят. Всяду висел Наполеон. Серый цвет императорского сюртука был облачным, как дурная погода под Москвой, лицо его было устроено просто, как латинская проза.

До такой прозы Россия еще не дошла.

«Цезарь» было прозвище старика, но и в этом ошибались: он был похож скорее на Помпея и ростом, и статурию, и странную нерешительностью. До Цезаревой прозы ему не дойти. И даже до Наполеоновой отрывистой риторики.

На хозяйском кресле лежал брошенный носовой платок. Вероятно, не нужно было сюда заезжать.

Послышались очень покойные шаги, шлепали туфли; пол скрипел.

Ермолов появился на пороге. Он был в сером легком сюртуке, которые носили только летом купцы, в желтоватом жилете. Шаровары желтого цвета, стянутые книзу, вздувались у него на коленях.

Не было ни военного сюртука, ни сабли, ни подпиравшего шею простого красного ворота, был недостойный маскарад. Старика ошельмовали.

Грибоедов шагнул к нему, растерянно улыбнувшись. Старик остановился.

– Вы не узнаете меня, Алексей Петрович?

– Нет, узнаю, – сказал просто Ермолов и, вместо объятия, всунул Грибоедову красную, шершавую руку. Рука была влажная, недавно мыта.

Потом, так же просто обошедши гостя, он сел за стол, оперся на него и немного нагнулся вперед с видом: я слушаю.

Грибоедов сел в кресла и закинул ногу на ногу. Потом, слишком пристально глядя на него, как смотрят на мертвых, он заговорил.

– Скоро отправляюсь, и надолго. Вы мне оказали столько ласковостей, Алексей Петрович, что я сам себе не мог отказать, зашел по пути проститься.

Ермолов молчал.

– Вы обо мне думайте, как хотите, – я просто в несогласии сам с собой, боюсь, что вы сейчас вот ловите меня на какой-нибудь околичности – не выкланиваю ли вашего расположения. И вы поймите, Алексей Петрович: я проститься пришел.

Ермолов вынул тремя пальцами из тавлинки понюх желтоватого табаку и грубо затолкал в обе ноздри. Табак просыпался на подбородок, на жилет и на стол.

– Ласковостей я вам, Александр Сергеич, никаких не оказывал: этого слова в моем лексиконе даже нет; это вам кто-то другой ласковости оказывал. Просто видел, что вы служить рады, прислуживаться вам тошно, – вы же об этом и в комедии писали, а я таких людей любил.

Ермолов говорил свободно, никакого принуждения в его речи не было.

– Нынче время другое и люди другие. И вы другой человек. Но как вы были в прежнее время опять же другим человеком, а я прежнее время больше люблю и уважаю, то и вас я частью люблю и уважаю.

Грибоедов вдруг усмехнулся.

– Похвала ваша не слишком заслуженна или, во всяком случае, предускоренна, Алексей Петрович. Я вас, как душу, любил и в этом хоть остался неизменен.

Ермолов собирался поднести к носу платок.

– Так вы, стало, и душу свою не любили.

Он высморкался залпом.

– И, стало, в душу заглядываете только по пути от Паскевича к Нессельроду.

Старик грубиянствовал и нарочно произносил: Паскевич. Он побарабанил пальцами.

– Сколько куруров отторговали от персиян? – спросил он с некоторым пренебрежением и, однако же, любопытством.

– Пятнадцать.

– Это много. Нельзя разорять побежденные народы. Грибоедов улыбнулся.

– Не вы ли, Алексей Петрович, говорили, что надо колеи глубже нарезать? Вы ведь персиян знаете – спросить с них пять куруров, так они и вовсе платить не станут.

– То колеи, а то «война или деньги». «Кошелек или жизнь».

«Война или деньги» была фраза Паскевича. Ермолов помолчал.

– Аббас-Мирза глуп, – сказал он, – позвал бы меня к себе в полководцы, не то было бы. Меня ж чуть в измене здесь не обвиняют, вот бы он, дурак, и воспользовался.

Грибоедов опять посмотрел на него, как на мертвого.

– Я не шучу, – старик сощурил глаз, – я план русской кампании получше и Аббаса, да уж и Паскевича, разработал.

– Ну и что же? – еле слышно спросил Грибоедов. Старик раскрыл папку и вынул карту. Карта была вдоль и поперек исчерчена.

– Смотрите, – поманил он пальцем Грибоедова, – Персия. Так? Табриз – та же Москва, большая деревня, только что глиняная. И опустошенная. Я бы на месте Аббаса в Табриз открыл дорогу, подослал бы к Паскевичу людей с просьбой, что, мол, они недовольны правительством и, боясь, дескать, наказания, просят поспешить освободить их... Так? Паскевич бы уши развесил... Так? А сам бы, – и он щелкнул пальцем в карту, – атаковал бы на Араксе переправу, ее уничтожил и насел бы на хвост армии...

Грибоедов смотрел на знакомую карту. Аракс был перечеркнут красными чернилами, молниеобразно.

– На хвост армии, – говорил, жуя губами, Ермолов, – и разорял бы транспорты с продовольствием.

И он черкнул шершавым пальцем по карте.

– В Азербиджане истреблять все средства существования, транспорты губить, заманить и отрезать...

Он перевел дух. Сидя за столом, он командовал персидской армией. Грибоедов не шелохнулся.

– И Паскевич единым махом превратился бы в Наполеона на Москве, только что без ума. А Дибич бы в Петербург, к Нессельроду...

Голова его села в плечи, а правая рука стала подавать в нос и сыпать на жилет, на грудь, на стол табак.

Потом он закрыл глаза, и все вдруг на нем заходило ходенем: нос, губы, плечи, живот. Ермолов спал. С ужасом Грибоедов смотрел на красную шею, поросшую мышьям мохом. Он снял очки и растерянно вытер глаза. Губы его дрожали.

Минута, две.

Никогда, никогда раньше этого не бывало... За год отставки...

– ...писал бы на него... письма, – закончил вдруг Ермолов, как ни в чем не бывало, – ...натуральным стилем. А то у Паскевича стиль не довольно натурален. Он ведь грамоте-то, Паскевич, тихо знает. Говорят, милый-любезный Грибоедов, ты ему правишь стиль?

Лобовая атака. Грибоедов выпрямился.

– Алексей Петрович, – сказал он медленно, – не уважая людей, негодую на их притворство и суетность, черт ли мне в их мнении? И все-таки, если вы мне скажете, кто говорит, я, хоть дурачеств не уважаю, буду с тем драться. Вы же для меня неприкосновенны, и не одной старостью.

– Ну, спасибо, – сказал Ермолов и недовольно улыбнулся, – я и сам не верю. Ну, хорошо, – он забежал глазами по Грибоедову, – бог с вами. Поезжайте.

Он встал и протянул ему руку.

– На прощанье вот вам два совета. Первый – не водитесь с англичанами. Второй – не служите вы за Паскевича, *pas trop de zee* [б - Не очень-то усердствуйте (фр.)]. Он вас выжмет и бросит. Помните, что может назваться счастливым только тот, которому нечего бояться. Впрочем, прощайте. Без вражды и приязни.

Когда Грибоедов спускался по лестнице, у него было скучающее и рассеянное выражение лица, как бывало в Персии, после переговоров с Аббасом-Мирзой.

Ермолов провожал его до лестницы. Он смотрел ему вслед.

Грибоедов шел медленно.

И тяжелая дверь вытолкнула его.

4

И с сердцем грудь полуразбитым

Дышала вдвое у меня,

И двум очам полужакрытым

Тяжел был свет двойного дня.

Шевырев

Путешествие от Пречистенки до Новой Басманной по мерзлым лужам, конечно, было длинно, но ведь не длинней же пути от Тифлиса до Москвы.

И все-таки оно было длиннее.

Сашка сидел на козлах с надменным видом, как статуя. В этом полагал он высшую степень воспитания. Взгляды, которые он обращал на прохожих, были туманны. Кучер орал на встречных мужиков и похлестывал кнутом по их покорным клячам. В Тавризе хлещут кнутом по встречным прохожим, когда едет шах-заде (принц) или вазир-мухтар (посланник).

Маменькина Персия, будь она трижды проклята, немилая Азия, далась она ему. О нем говорят, что он подличает Паскевичу. И вот это нисколько не заняло его. Судьи кто? У него были замыслы. Ценою унижения надлежало добиться своего. *Paris vaut bien une messe*[7 - Париж стоит обедни (фр.)]. И ребячество возиться со старыми друзьями. Они скажут: Молчалин, они скажут: вот куда он метил, они его сделают смешным. Пусть попробуют.

Какая бедная жизнь, какие старые счета.

И, может быть, ничего этого не нужно.

В месяце марте в Москве в три часа нет ни света, ни тени.

Все неверно, все колеблется, нет ни одного принятого решения, и самые дома кажутся непрочными и продажными. В месяце марте в Москве нельзя искать по улицам твердого решения или утерянной молодости.

Все кажется неверным.

С одной стороны – едет по улице знаменитый человек, автор знаменитой комедии, восходящий дипломат, едет небрежно и независимо, везет знаменитый мир в Петербург, посетил Москву проездом, легко и свободно.

С другой стороны – улица имеет свой вид и вещественное существование, не обращает внимания на знаменитого человека. Знаменитая комедия не поставлена на театре и не напечатана. Ему не рады друзья, он человек оторвавшийся. Старшие обваливаются, как дома. И у знаменитого человека нет крова, нет своего угла, и есть только сердце, которое ходит маятником: то молодо, то старо.

Все неверно, все в Риме неверно, и город скоро погибнет, если найдет покупателя.

Сашка сидит неподвижно на козлах, с надменным видом.

Взгляды, которые он обращает на прохожих, – туманны.

5

Он остановил каретку в приходе Петра и Павла, у дома Левашовых.

Приятное убежище, должно быть.

В пустом саду было много дорожек и много флигелей, разбитых вокруг главного дома. Он попробовал ринуться к одной двери, но из окна выглянула весьма милая женская голова. Чаадаев же был отшельник, анахорет, совершенно лишенный вкуса к этой области. Он отступил и осмотрелся.

Флигели были расположены вокруг дома звездой, невинная затея. Он улыбнулся как старому знакомому и дернул первый попавшийся колокольчик. Открыл ему дверь аббат в черной сутане. Он быстро и вежливо указал флигель Чаадаева и спрятался. Зачем он сам здесь жил в Москве, бог один его знал.

Дом Левашовых был не простой дом. Он стоял в саду, был снабжен пятью или, может быть, шестью дворами, в каждом дворе флигель, в каждом флигеле по разным причинам проживающие лица: кто из дружбы, кто из милости, кто для удовольствия, кто по необходимости, кто без всякого резона, хозяевам было веселее. Чаадаев сюда переехал на житье по всем резонам сразу, а главное, потому, что денег не было.

Тот же камердинер Иван Яковлевич, в франтовском старомодном жабо, поклонился Грибоедову и пошел доложить. За стеною Грибоедов услышал раздраженный шепот, кто-то шикал и покашливал. Он уже собирался сказать свинью Чаадаеву, как камердинер вернулся. Иван Яковлевич разводил руками и объявил бесстрастно, что Петр Яковлевич болен и не принимает. В ответ на это Грибоедов скинул к нему на руки плащ, бросил шляпу и двинулся в комнаты.

Не постучав, он вошел.

Перед столом с выражением ужаса стоял Чаадаев.

Он был в длинном, цвета московского пожара халате.

Тотчас же он сделал неуловимое сумасшедшее движение ускользнуть в соседнюю комнату. Бледно-голубые, белесые глаза прятались от Грибоедова. Было не до шуток, пора было все обращать в шутку.

Грибоедов шагнул к нему и схватил за рукав.

– Любезный друг, простите меня за варварское нашествие. Не торопитесь одеваться. Я не женщина.

Медленно совершалось превращение халата. Сначала он вис бурой тряпкой, потом складок стало меньше, он распрямился. Чаадаев улыбнулся. Лицо его было неестественной белизны, как у булочников или мумий. Он был высок, строен и вместе хрупок. Казалось, если притронуться к нему пальцем, он рассыплется. Наконец он тихо засмеялся.

– Я, право, не узнал вас, – сказал он и махнул рукой на кресла, – садитесь. Я не ждал вас. Говоря откровенно, я никого не принимаю.

– И тем больше не хотели меня. Я действительно несвятостью моего житья не приобрел себе права продолжать дружбу с пустынниками.

Чаадаев сморщился.

– Не в том дело, дело в том, что я болен.

– Да, вы бледны, – сказал рассеянно Грибоедов. – Воздух здесь несвеж.

Чаадаев откинулся в креслах.

– Вы находите? – спросил он медленно.

– Редко проветриваете. Впрочем, я, может быть, отвык от жилья.

– Не то, – протянул Чаадаев, задыхаясь, – я, что же, по-вашему, бледен?

– Слегка, – удивился Грибоедов.

– Я страшно болен, – сказал упавшим голосом Чаадаев.

– Чем же?

– У меня обнаружили рюматизмы в голове. Вы на язык взгляните, – и он высунул гостью язык.

– Язык хорош, – рассмеялся Грибоедов.

– Язык-то, может быть, хорош, – подозрительно поглядел на него Чаадаев, – но главное, это слабость желудка и вертижи. Всякий день встаю с надеждой, – ложусь без надежды. Главное, разумеется, диета и правильная жизнь. Вы по какой системе лечитесь?

– Я? По системе скакания на перекладных. То же и вам советую. Если вы чем и больны, так гипохондрией. А начнете подпрыгивать да биться с передка на задок, у вас от этого противоположного движения пройдут вертижи.

– Гипохондрия-то у меня прошла, у меня... – протянул Чаадаев и вдруг всмотрелся в гостя. Он опять засмеялся.

– Все это глупости, любезный Грибоедов, я вас мучаю такими мизерами, что, право, смешно и глупо. Вы откуда и куда?

– Я? – удивился слегка Грибоедов. – Я из Персии и везу в Петербург Туркменчайский мир.

– Какой это мир? – легко спросил Чаадаев.

– Мир? Но Туркменчайский же. Неужели вы о нем не слыхали?

– Нет, я ведь никого не принимаю, только аббе Барраль ко мне иногда заходит. Газет я не читаю.

– Вы, чего доброго, не знаете, пожалуй, что у нас война с Персией? – спросил чем-то довольный Грибоедов.

– Но ведь у нас, кажется, война с Турцией, – сказал равнодушно Чаадаев.

Грибоедов посмотрел на него серьезно:

– Это начинается с Турцией, а была с Персией, Петр Яковлевич.

– Бог с ним, с этим миром, – сказал надменно Чаадаев. – Вы-то, вы что за это время делали? Ведь мы с вами не видались три года... или больше.

– Я сел на лошадь, пустился в Иран, секретарь бродящей миссии. По семьдесят верст каждый день, по два, по три месяца сряду. Промежутки отдохновения бесследны. Так и не нахожу себя самого.

– Вот как, – сказал, с интересом всматриваясь в него, Чаадаев, – но ведь это болезнь, это называется боязнь пространства, агорафобия. Вы скачете по большому пространству и оттого...

– Положим, однако, что я еще не совсем с ума сошел, – сказал Грибоедов, – различаю людей и предметы, между которыми движусь.

Чаадаев отодвинул рукой его слова.

– Вот и я тоже: сижу, сижу – прислушиваюсь...

– И что же вы слышите?

– Многое, – кивнул снисходительно Чаадаев, – сейчас Европа накануне скачка. Она тоже, наподобие вас, не находит самое себя. Будьте уверены, что в Париже рука уже вынула камень из мостовой.

Чаадаев погрозил ему пальцем. Грибоедов вслушался. Он почувствовал неестественность белого лица и блестящих голубых глаз, речи, самые звуки которой были надменны.

Новая Басманная с флигелями отложилась, отпала от России.

– Мой дорогой друг, – сказал Чаадаев, с сожалением глядя на Грибоедова, – вы, как то свойственно и всякому человеку, полагаете самым важным то, что вам ближе. Вы ошибаетесь. Не в войнах, конечно, теперь дело. Война в наш век – игрушка дураков. Присоединят колонию, присоединят другую – что за глупое самолюбие пространства! Еще тысяча верст! Нам и своих девать некуда.

Грибоедов медленно краснел.

Чаадаев прищурил глаза.

– Лечитесь. У вас нехороший teint[8 - Цвет лица (фр.)]. Вам нужен геморроидальный режим. Непременно должно ходить на двор, aus freier Hand, как это называется по-немецки.

– Вы не знаете России, – говорил Грибоедов, – а московский Английский клуб...

Чаадаев насторожился.

– ...для вас подобие английской палаты. Вот вы говорите: тысяча верст, а сидя в этом флигеле...

– Павильоне, – недовольно поправил Чаадаев.

Нетопленный осклизлый камин имел вид развратника поутру. Чаадаев почти лежал в низких длинных английских креслах, похожих на носилки. Ноги его в туфлях торчали.

– Во всем этом есть некоторая путаница, – сказал он в нос и, вытянув губы, закачал головой, как музыкант, прислушивающийся к новой пиесе, разыгрываемой перед ним впервые.

Грибоедов следил за ним с любопытством.

– Так, так, – сказал вдруг Чаадаев, поймав наконец за хвост какой-то ритм или мелодию, и, поднеся к губам палец, вдруг этот хвост проглотил. Он хитро и многозначительно поглядел на Грибоедова, полюбовался им, как бы говоря: «Я знаю, а тебе не скажу».

Вошел Иван Яковлевич, держа на подносе две чашки кофе. Грибоедов глотнул и с отвращением отставил свою чашку.

– Желудочный кофе, – пояснил Чаадаев, прихлебывая, – меня выучили варить его в Англии.

«Много чему тебя там выучили», – подумал Грибоедов.

– Я многому там научился, – сказал Чаадаев, пристально глядя на него. – Но не всем дано научиться. Пружины тамошней жизни сначала прямо отталкивают. Движение необъятное – вот все, не с чем симпатизировать. Но научитесь говорить слово home[9 - Дом, домашний очаг (англ.)], как англичанин, и вы позабудете о России.

– Это отчего же?

– Потому что там есть мысль, одна спокойная мысль во всем. У нас же, как вы, вероятно, успели заметить, ни движения, ни мысли. Неподвижность взгляда, неопределенность физиогномии. Тысяча верст на лице.

Он позвонил.

Вошел Иван и вопросительно глянул.

– Можешь, любезный, идти, – сказал снисходительно Чаадаев. – Это я так позвонил.

Иван вышел.

– Вы видели это лицо? – спросил спокойно Чаадаев. – Какая неподвижность, неопределенность... неуверенность – и холод. Вот вам русское народное лицо. Он стоит вне Запада и вне Востока. И это ложится на его лицо.

«Ну и соврал», – с сладострастием подумал Грибоедов.

– Ваш человек не русский, – сказал он холодно Чаадаеву, – он только кривляет свое лицо, он вас копирует. А мы кто? Поврежденный класс полугерманцев.

Чаадаев смотрел на него покровительственно.

– О, любезный друг, какая у вас странная решительность мнений и разговора, вообразите, я ее встречаю везде, кругом, ее – и немощность поступков.

Грибоедов не ответил, и наступила тишина. Чаадаев увлекся кофеем, прихлебывал.

– У нас тоже есть мысль, – сказал вдруг Грибоедов, – корысть, вот общая мысль. Другой нет и быть не может, кажется. Корысть захотит всех более познавать и самим действовать. Я в Париже не бывал, ниже в Англии, а на Востоке был. Страсть к корысти, потом к улучшению бытия своего, потом к познанию. Я хотел вам даже рассказать об одном своем проекте.

Чаадаев пролил кофе на халат.

– Да, да, да, – сказал он недоверчиво и жадно поглядывал на Грибоедова, – помнится, я читал об этом.

– О чем читали? – остолбенел Грибоедов.

– Но, бог мой, и о корысти и... проект. Вы читали Сен-Симона? И потом... милый друг, да ведь это же об Ост-Индской компании была статья в «Review».

Грибоедов насупился. Склизкие глаза Чаадаева на него посматривали.

– Да, да, – говорил Чаадаев тускло, – это интересно, это очень интересно.

– Мой друг, мой дорогой друг, – сказал он вдруг тихо, – когда я вижу, как вы, поэт, один из умов, которые я еще ценю здесь, вы – не творите более, но погружаетесь в дразги, мне хочется сказать вам: зачем вы стоите на моем пути, зачем вы мне мешаете идти?

– Но вы, кажется, и не собираетесь никуда идти, – сказал спокойно Грибоедов.

Чаадаев сбросил на стол черный колпак с головы. Открылась лысина – высокая, сияющая. Он сказал, гнусавя, как Тальма:

– О мой корыстный друг, поздравляю вас с прибытием в наш Некрополь, город мертвых! Долго ли у нас погостите?

Провожая Грибоедова, он у самых дверей спросил его беспечно:

– Милый Грибоедов, вы при деньгах? Мне не шлют из деревни. Ссудите меня пятьюдесятью рублями. Или ста пятьюдесятью. Первой же поштой отошлю.

У Грибоедова не было денег, и Чаадаев расстался с ним снисходительно.

6

...Освещенные окна вызвали знакомое томление: кто-то его ждал в одном из окон.

Он знал, что все это, конечно, вздор, ни одно окно не освещено, ни одно сердце не бьется здесь для него.

Он знал больше: за окнами сидят молодые, старые и средних лет люди, по большей части чиновники, дрянь, говорят, сплетничают, играют в карты, наконец гаснут. Все это, разумеется, вздор и бредни. И на сто человек – один умный.

Стыдно сознаться, он забыл имена московских любовниц; окна светились не для него, бордели его юности были закрыты.

Где найдет он странноприимный дом для крова, для сердца?

7

Он увидел розовое лицо, пух мягких волос, услышал радостное трепыхание дома, детский визг из комнат и женское шиканье – и ощутил прикосновение

надежной щеки.

Весь он был заключен в мягкие, необыкновенно сильные объятия.

Тогда он понял, что все, что утром творилось, – раздражение нерв, дрянь, шум в крови.

Просто – он начал визиты не с того конца.

И он обнял Степана Никитича со старой быстротой, щегольством угловатых движений.

Уже бежали дети, воспитанницы, гувернантки из дверей с визгом.

Мамзель Питон отступила перед ним в реверансе, как Кутузов перед Наполеоном.

Она была налита ядом, и ее прозвали дома Пифоном.

Дети и воспитанницы тряслись на ножках, ожидая очереди на реверанс.

Детей Степан Никитич тотчас отослал. Мамзели Пифону он отдал какие-то распоряжения почти на ухо, так что Пифон с гадливостью отшатнулся. Впрочем, она тотчас же скрылась.

– Змей Горыныч, – кивнул головой Степан Никитич не Грибоедову, а вообще. – Диво женское.

Соорудился стол.

Виноград из Крыма, яблоки из собственного имения, трое лакеев побежали, запыхавшись, за остальным.

Степан Никитич расставил вино, обратился не то к бутылкам, не то к Грибоедову: «Знай наших» или: «Не замай наших» и устави́л в порядок.

Потом деловито потащил его к свету, серьезно оглядел и хмыкнул от удовольствия. Грибоедов был Грибоедов.

– Что ж ты, мой друг, не заехал ко мне сразу? Ведь стыдно ж тебе маменьку беспокоить. Ведь твой Сашка там в гроб всех уложит.

Стало ясно, как дважды два равно четырем, что он, Александр Грибоедов, Саша, приехал с Востока, едет в Петербург, везет там какие-то бумаги, и баста. Расспросы и рассказы ни к чему не поведут. Они имеют смысл, только когда люди не видятся день или неделю, а когда они вообще видятся неопределенно и помалу, – всякие расспросы бессмысленны. Чтобы продолжалась дружба, нужно одно: тождество.

Степан Никитич тащил Грибоедова к окну убедиться, что он тот же, и убедился.

Принесли еще вина, пирог с трюфелями.

Степан Никитич слегка нахмурился, оглядел стол. В его взгляде была грусть и опытность.

Он взял какую-то бутылку за горло, как врага, примерился к ней взглядом – и вдруг отослал обратно.

Грибоедов, уже расположившись поесть, внимательно за ним следил.

Они встретились взглядами и захохотали.

– Анна Ивановна-то, друг мой, – сказал Бегичев значительно о своей жене, – это я только при змее Пифоне тебе сказал, что она в гостях. Она опять к матушке перебралась.

Он покосился на лакея и нахмурил брови.

– На сносях, – сказал он громким шепотом.

– Ты скажи ей, моему милому другу, – сказал Грибоедов, – что если мои желания исполнятся, так никому в свете легче ее не рожать.

Анна Ивановна была его приятельницей, заступницей перед маменькой и советчицей.

– А ты как, на которую наметил? – спросил и весело и вместе не без задней мысли Бегичев.

– Будь беззаботен, – расхохотался Грибоедов, – я расхолодел.

– А..? – Бегичев шепотом назвал: – Катенька. Грибоедов отмахнулся.

– Роскошствуешь и обмираешь? – подмигнул Бегичев.

– Да я ее навряд и увижу.

– Ты в нее тряпичным подарком стрельни, – посоветовал Бегичев, – они это любят.

– В Персии конфеты чудесные, – ответил задумчиво Грибоедов, жуя халву.

Бегичев щелкнул себя по лбу:

– Позабыл конфеты, ты ведь конфеты любишь, сладстена.

– Не тревожься. Здесь таких конфет вовсе нет. Там совсем другие конфеты. Вообрази, например, кусочки, и тают во рту. Называется пuffedек, или вроде хлопчатой бумаги, и тоже тают. Называется пешмек. Потом гез, луз, баклава – там, почитай, сортов сотня.

Бегичев чему-то смеялся.

– Маменька-то, – сказал он вдруг, – я ее с месяц уже не видал. Прожилась совсем.

Грибоедов помолчал.

– А твои заводы как? Он огляделся вокруг.

– У тебя здесь перемены, как будто просторнее стало.

– Сердце мое, – говорил Бегичев, – ты нисколько не переменялся. Заводы у меня совсем не идут. У жены что дядей, теток!

Бегичев все строился и пускал заводы, но заводы не шли. Состояние жены проживалось медленно, оно было значительное. Женины родственники вмешивались в дела и наперерыв давали советы, бестолковые.

Потом Бегичев повел его в диванную, Грибоедов забрался с ногами на широкий, мягкий, почти азиатский диван. Бегичев притащил с собой вина и запер дверь, чтоб Пифон не подслушивал.

– Я сегодня в вихрях ужасных, – сказал Грибоедов и закрыл глаза. – Все пробую, все не дается. Я, вот погоди, переберусь к тебе, на твой диван совсем. Поставишь мне сюда стол, и буду писать.

Бегичев вздохнул.

– Перегори, потерпи еще. Поезжай в Персию на год. Грибоедов открыл глаза:

– Маменька говорила?

– Да что ж маменька, у маменьки пятнадцать тысяч долгу у старика Одоевского.

И, взглянув в глаза Бегичева, Грибоедов понял, что не о маменьке речь.

– Я уже давно отказался от всяких тайн. Говори свободно и свободно.

– Тебе в Москве нехорошо будет, – сказал Бегичев и снял пылинку с грибоедовского сюртука. – Люди другие пошли. Тебе с ними не ужиться.

Грибоедов взмахнул на него глазами:

- Ты обо мне как о больном говоришь. Бегичев обнял его.

- У тебя сухая кровь, Александр. Тебе самому, мой единственный друг, здесь не усидеть. Вспомни, как перед «Горем» было: бродил, кипел, то собирался жить, то умирать. И вдруг, как все пошло!

Он был старше Грибоедова; у него не было имени, о положении он не заботился, просто проживал женино состояние, но он имел над ним власть. Грибоедов рядом с ним казался себе неосновательным.

Таков был мягкий пух бегичевской головы.

- Я в Персию не поеду, - лениво сказал Грибоедов, - в Персии у меня враг, Алаяр-хан, он зять шаха. Меня из Персии живым не выпустят.

Он не думал о докторе Макниле, не помнил о нем - но когда говорил о Персии, чувствовал неприятность свежего, не персидского происхождения.

- Я что? - говорил Бегичев. - Я ем, пью, тешусь заводами. Утром встаю, думаю: много еще времени до вечера, вечером: еще ночь впереди. Так и время пройдет. А тебе большое плаванье. А отчего Алаяр-хан сделался враг твой? Да, да. Это участь умных людей, что большую часть жизни надо проводить с дураками. А здесь их сколько! Тьмы и тьмы. Больше, чем солдат. Может, к Паскевичу?

- Неужто ты думаешь, - сказал Грибоедов и скосил глаза, как загнанный, - что я у него способен вечно служить?

Ему стало тесно на диване. Они выпили вина.

- Ты не пей бургундского. От бургундского делается вихрь в голове.

Саша не пил бургундского, пил другое. Он присмирел, сидел насторожась. Он стал послушен. Так сидят два друга, и английские часы смотрят на них во весь циферблат.

Так они сидят до поры до времени.

Потом один из них замечает, что как бы чужой ветер вошел в комнату вместе с другим.

И манеры у него стали как будто другие, и голос глуше, и волосы на висках реже.

Он уже не гладит его по голове, он не знает, что с ним делать.

У него, собственно говоря, есть желание, в котором трудно сознаться, – чтобы другой поскорее уехал.

Тогда Грибоедов подошел к фортепьяно.

Он нажал педали и оттолкнулся от берега.

Вином и музыкой он сразу же отгородился от всех добрых людей. Прощайте, добрые люди, прощайте, умные люди!

Крылья дорожного экипажа, как пароходные крылья, роют воздух Азии. И дорога бьет песком и пометом в борт экипажа.

Ему стало тесно метанье по дорогам, тряска крови, тряска дорожного сердца.

Он хотел помириться с землей, оскорбленной его девятилетней бестолковой скачкой.

Но он не мог помириться с ней, как первый встречный прохожий.

Его легкая коляска резала воздух.

У него были условия верные, как музыка. У него были намерения. Запечатанный пятью аккуратными печатями, рядом с Туркменчайским – чужим – миром лежал его проект.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Арабский конь быстро мчится

два перехода – и только. А верблюд

тихо шествует день и ночь.

Саади. Гюлистан

1

Появилась маленькая заметка в газете «Северная пчела», в номере от 14 марта:

«Сего числа в третьем часу пополудни возвещено жителям столицы пушечным выстрелом с Петропавловской крепости о заключении мира с Персией. Известие о сем и самый трактат привезен сюда сегодня, из главной квартиры действующей в Персии Российской Армии, ведомства Государственной Коллегии Иностранных Дел Коллежским Советником Грибоедовым».

С трех часов все перепугались.

Пушки Петропавловской крепости – орудийная газета Петербурга. Они издавна вздыхают каждый полдень и каждое наводнение. На миг в Петербурге все торопеют. В жизнь каждой комнаты и канцелярии вторгается пушечный выстрел. Краткий миг изумления кончается тем, что взрослые проверяют часы, а дети начинают бессознательно играть в солдатики.

Привычка эта так сильна, что, когда начинается наводнение, чиновники бросаются переводить часы.

Но с трех часов 14 марта 1828 года пушки вздыхали по-боевому. Был дан двести один выстрел.

Петропавловская крепость была тем местом, где лежали мертвые императоры и сидели живые бунтовщики.

Двести один, друг за другом, выстрел напоминал не торжество, а восстание.

Между тем все было необычайно просто и даже скучно.

Вечером коллежский советник прибыл в номера Демута.

Он потребовал три номера, соединяющиеся между собою и удобные. Он завалился спать и всю ночь проспал как убитый. Изредка его смущал рисунок обоев и мягкие туфли, шлепавшие по коридору. Чужая мебель необыкновенно громко рассыхалась. Он словно опустился в тяжелый, мягкий диван, обступивший его тело со всех сторон, провалился сквозь дно, и номерные шторы, казалось, пали на окна навсегда.

В десять часов он уже брился, надевал, как перед смертью или экзаменом, чистое белье, в двенадцать несся в Коллегию Иностранных Дел.

В большой зале его встретили чины. Сколько разнообразных рук он пожал, а взгляды у всех были такие, как будто в глубине зала, куда он поспешно проникал, готовилась неожиданная западня.

Все коллежские советники Петербурга были в этот день пьяны завистью, больны от нее, а ночью безотрадно и горячо молились в подушки.

Западни не было, его пропускали к самому Нессельроду.

И вот он стоял, Нессельрод, в глубине зала.

Карл-Роберт Нессельрод, серый лицом карлик, руководитель наружной российской политики.

Прямо, не сгибаясь, стоял коллежский советник в зеленом мундирном фраке перед кондотьером и наемником шепотов.

Наконец движением гимнаста, держащего на шее шест с другим гимнастом, он склонил голову.

– Имею честь явиться к вашему превосходительству.

Карлик высунул вперед женскую ручку, и белая ручка легла на другую, желтую цветом.

Коллежские советники смотрели.

Потом снова раздалось заклинание коллежского советника:

– Ваше превосходительство, имею честь вручить вам от имени его превосходительства главнокомандующего Туркменчайский Трактат.

Белая ручка легла на объемистый пакет с сургучами. Серая головка зашевелилась, еврейский нос дунул, и немецкие губы сказали по-французски:

– Приветствую вас, господин секретарь, и вас, господа, со славным миром.

Карл-Роберт Нессельрод не говорил по-русски.

Он повернулся на каблучках и открыл перед Грибоедовым дверь в свой кабинет. Сезам открылся. По стенам висели темные изображения императоров в веселых рамах, и стол был пуст, как налой.

Взгляду, которому нельзя было зацепиться ни за книгу, ни за папку с делами, предоставлялось предаться на волю отвлеченного случая.

Тут его Нессельрод усадил.

– Перед тем как отправиться, господин Грибоедов, к императору, я хочу лично выразить вам свою глубокую признательность за ваше усердие и опытность.

Крест болтался у него на груди с трогательной беспомощностью и как бы приглашал дернуть и оборвать.

– Условия мира, в котором вы столь много нам помогли, для нас так выгодны, что с первого взгляда кажутся даже неосуществимыми.

Он улыбнулся печально и приятно, и эту улыбочку забыл на лице, серые глаза дребезжали по Грибоедову.

Тогда Грибоедов сделал каменное выражение. Не коллежский советник сидел перед министром, а сидели два авгура, которые торговались за знание. Нессельрод делал вид, что его знание выше.

– Превосходный, почетный мир, – сказал он со вздохом, – но...

Второй авгур не сбавлял цены со своего знания, даже не вытянул головы в знак внимания.

– ...но не думаете ли вы, дорогой господин Грибоедов, – немного сбавил Нессельрод, – что, с одной стороны...

Решительно, ему не хотелось договаривать.

Тогда младший заговорил:

– Я полагаю, ваше превосходительство, что, с одной стороны, границы наши по Араксу, до самого Едибулукского брода, отныне явятся естественными границами. Нас будет охранять уже не единственно мудрость политики вашего превосходительства, но и река и горы.

– Да, да, – запечалился Нессельрод и вдруг слегка обиделся. Он перестал колебаться, и крестик остановился на груди, как пришитый. На его стороне было теперь молчание.

– С другой стороны, – сказал младший и остановился так, как будто кончил фразу. Он многому научился в Персии.

– С другой стороны, – сказал Нессельрод, как бы извиняя неопытность младшего и сожалея о ней, – сможем ли мы отвечать за исполнение столь блистательного мира во всех пунктах, принимая все-таки во внимание...

...И ручка сделала жест. Жест означал турецкую войну.

– Я надеюсь, ваше превосходительство, что турецкая кампания быстро окончится.

Старший беспомощно оглянулся: грек Родофиникин, раскоряка, заведовавший Азиатским департаментом, заболел лихорадкой. Между тем именно у него была любезная вульгарность тона, которая помогает в сношениях с младшими. Он бы тут улыбнулся, раскоряка, он бы свел разговор на какие-нибудь глупости, пустяки, и притом самого будничного свойства («какая халва в Персии! и хурма!»), и потом сразу же похлопал бы по плечу, конечно, в моральном смысле.

Нессельрод радостно улыбнулся и сказал:

– Да, я тоже надеюсь, вы, вероятно, знаете, что государь с небольшим кружком – o! la bande des joyeux![10 - Веселая банда (фр.).] – Нессельрод с каким-то отчаянным удалством взмахнул ручкой, – собирается сам на театр войны, как только ее объявим.

Война уже в действительности началась, но не была еще объявлена.

Младший ничего не знал о небольшом кружке и высоко поднял брови. Положительно, руководитель ощутил недостаток истинной наивности.

Он ведь не мог так, прямо, сказать коллежскому советнику, что как раньше он хотел ускорить позорно затянувшуюся, безвыходную персидскую войну, так всеми силами он теперь должен будет стараться замедлить войну с Турцией.

Война была для него сумбур, неожиданность, brouhaha[11 - Ералаш (фр.).].

Она как-то всегда связывалась для него по воспоминаниям молодости с падением какого-то министерства. А теперь он сам был министр.

И вот он сидит, машет удалой ручкой, а между тем просто-напросто стоит уехать и выйти в отставку, пока не поздно.

Его старый приятель, граф де ла Фероней, которого недавно отозвали во Францию, писал ему каждую неделю из Парижа: французы беспокоятся, они недовольны, Европа соразмеряет русские силы со своими, и пусть уж он, Нессельрод, сговаривается с новым послом, а граф де ла Фероней советует: мир, мир во что бы то ни стало, любой, при первой удаче или неудаче.

Князь Ливен, посол в Лондоне, писал Нессельроду, что не выходит на улицу: джентльмен Веллингтон не желает с ним знаться, и только некоторые неудачи русских войск его умилоостивят.

А лорд Абердин начал странным образом симпатизировать Меттерниху. Это уже было не *broûhaña*, а нечто похуже. Меттерних...

Но здесь открывалась старая рана – венский учитель отрекся от петербургского ученика, он ругал его на всех языках Дантоном и идиотом.

Карл-Роберт Нессельрод должен был при всем том управлять, управлять, управлять.

Днем и ночью, не разгибая спины, радоваться.

И его не хватило.

Управление он сдал своей жене, себе оставил – радость. Это была трудная задача. Он знал, что в Петербурге его прозвали печеной рожей и один писака сочинил про него ужасный площадной пасквиль: что он *peteur*[12 - Вонючка (фр.)], а не министр Европы.

Карл-Роберт Нессельрод, сын пруссака и еврейки, родился на английском корабле, подплывавшем к Лиссабону.

Равновесие и параллельная дружба качались теперь, как английский корабль, и это он, он, Карл-Роберт Нессельрод, кричал, как его мать в тот момент, когда

она рожала его на корабле.

Впрочем, его крик наружно выражался в другом: он улыбался.

Он хотел сбавить немного цены этому странному курьеру, нащупать, что он такое за человек, но вместо того, кажется, просто выразил недовольство миром и тем показал, что мир устроился без него, без Нессельрода. Этот молодой человек тоже, кажется, из этих... из умников. Впрочем, он родственник Паскевичу. Нессельрод обернулся к коллежскому советнику, представлявшему собою смесь русской неучливости и азиатского коварства, и весело улыбнулся:

– Мы еще поговорим, дорогой господин Грибоедов. Теперь пора. Надо спешить. Ждет император.

2

Меня позвали в Главный Штаб

И потянули к Иисусу.

Грибоедов

В мягких штофных каретах сидело дипломатическое сословие. Нессельрод усадил Грибоедова рядом с собой. В карете было душно и неприятно, карлик забыл дома приятную улыбку. Он снова найдет ее во дворце. В карете же он сидит страшный, без всякого выражения на сером личике и в странном, почти шутовском наряде.

На нем мундир темно-зеленого сукна, с красным суконным воротником и с красными обшлагами. На воротнике, обшлагах, карманных клапанах, под ними, на полах, по швам и фалдам – золото. По борту на грудке вьются у него шитые брандебуры. На новеньких пуговицах сияют птичьи головки – государственный герб.

Когда же карлик кутает ноги, – переливает темно-зеленый шелк подкладки.

На нем придворный мундир. На шляпе его плюмаж.

Они катят во дворец.

Все было заранее известно, и все же оба волновались. Они вступали в царство абсолютного порядка, непреложных истин: был предуказан цвет подкладки и форма прически, была предусмотрена гармония. Нессельрод с тревогой оглядел Грибоедова. Он помнил указ об усах, кои присвоены только военным, и о ношении бород в виде жидовских.

Коллежский советник, видимо, тоже знал указ и был причесан прилично.

Подкатили не к главным воротам дворца, а к боковым. Караульные солдаты вытянулись в струнку, и офицер отдал салют.

Как только карлик, а за ним Грибоедов выскочили кареты, вытянулось перед ними широкое незнакомое лицо. Звание лица было: Придворный Скороход. Походкой гордой и мягкой, как бы всходя на амвон, Придворный Скороход повел их в тяжелую дверную пристройку и предводительствовал ими, идя все тем же задумчивым шагом по лестнице. На голове его развевались два громадных страусовых пера: черное и белое. У входа в апартаменты Скороход остановился, поклонился и, оставив прибывших, стал медленно сходить по лестнице. Так он по тройке начал вводить дипломатическое сословие.

Грибоедов был желт, как лимон.

Скороход и Гоф-Фурьер шествовали молча впереди. Оба были упитанны, чисто выбриты и спокойны.

Дипломаты были введены в Комнату Ожидания.

Здесь их встретил Чиновник Церемониальных Дел. Он присоединился к Скороходу и Гоф-Фурьеру.

Сначала впереди шли: Гоф-Фурьер и Скороход.

Потом: Чиновник Церемониальных Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Церемониймейстер, Чиновник этих Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Обер-Церемониймейстер, просто Церемониймейстер, Чиновник названных уже Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Их встречали в каждой новой зале, присоединялись молчаливо и, не глядя друг на друга, шагали, кто по бокам, кто впереди – вероятно, по правилам.

Тихая детская игра, в которую играли расшитые золотом старики, разрасталась.

Как только присоединялся новый чин в каждом новом зале, Грибоедов испытывал детский страх: так терпеливо они поджидали их, так незаметно отделялись от пестрой стены и сосредоточенно соразмеряли свой шаг с остальными.

Это напоминало дурной сон. В Зале Аудиенции Обер-Церемониймейстер застрял, по правилам, перед дверью, а встретил их Гофмаршал и Обер-Гофмаршал.

Нессельрод быстро посапывал от моциона и удовольствия. Серое личико стало розовым – их встречали с необычайным почетом.

И вот известный лик, с подбирающим шею воротником, ступеем, под которым ранняя лысина, с лосинами ног, почти съедобными, такой они были белизны. У него было розовое лицо.

Он сказал что-то и улыбнулся подбородком: большой подбородок осел книзу. Он взял у карлика из рук пакет и дернул головой и взглядом вбок, в сторону Обер-Гофмаршала. Старик в золоте засуетился, стоя на месте. Не сходя с места, он весь суетился, лицом и телом. Это был очень тревожный бег на месте.

Грибоедов догадался, в чем дело, когда ухнул первый выстрел.

Механизм был устроен так: нитка шла от известного лица через Гофмаршала к петропавловским пушкам. Лицо сделало жест, но пушка запоздала – и вот оно сердилось.

Так начали двухчасовой бой пушки.

Николай говорил с Нессельродом, держа его за брандесбург. Потом он перешел к Грибоедову и спросил:

– Как здоровье моего командира?

Наследником он служил под командой Паскевича и с тех пор называл его командиром и отцом-командиром.

– Я, помнится, года три тому назад встречал вас у него.

– У вашего величества превосходная память. Пушки били, как часы.

Стоило трястись месяц в жар и холод, чтобы сказать плоский комплимент.

Карлик расцветал, как серая роза. Он считал выстрелы.

Он знал, что с каждым выстрелом что-то меняется в его формуляре.

Вот он мало-помалу становится графом, вице-канцлером. Вот аренды, ренты, имения. – Поздравляю вас, господа! Грибоедов знал заранее с чем.

Орден святыя Анны второй степени с алмазами был обещан ему Паскевичем. Он обеспокоился: неужели Паскевич забыл о деньгах – он просил четыре тысячи червонцев. Откуп от маменьки.

Карлик считал с просветленным лицом.

Он стоял золотою рыбкой в аквариуме.

Он как бы рос, выпрямлялся, тянулся, он уже не был более, как за час до того, просто Карл-Роберт Нессельрод, он был вице-канцлер империи. Он попробует вытянуться еще и еще, и, может быть, он дотянется до... чего?

Будь у него жабры, он захлопал бы ими.

Выстрелы.

Паскевич становился графом, Нессельрод – вице-канцлером.

Коллежский советник Грибоедов получал орден и червонцы.

Чеканились серебряные медали с надписью на лицевой стороне: «За персидскую войну», на обороте: «1826, 7 и 8».

Все уже были в дворцовой церкви, когда Нессельрод очнулся.

Он был английского исповедания, сын католика и протестантки, и привык молиться в православной церкви.

Пальба прекратилась. Город гудел от колокольного звона. Трезвон был не московский, не утробный и вздыхательный, а другой, пустой и звонкий, залихватский, как цоканье кавалерийских копыт.

Было молчаливое соглашение.

Под кораблем, что когда-то подплывал к Лиссабону, ходили подводные течения. Они ходили под дипломатическим сословием и знатными особами обоего пола.

Никто не знал, куда идет корабль, меньше всех – руководитель наружной российской политики.

Но все чувствовали, что от цвета мундиров зависит направление умов. Все знали, что воротник коллежского советника должен быть черный, бархатный. Иначе нити потеряют осязаемость, поплывут из рук, станут неуловимы. Корабль завертится, повторится декабрь, начнется вертиж.

Было молчаливое соглашение между известным лицом, карликом и русским богом.

В дворцовой церкви, похожей на детскую рождественскую елку, принял от коллежского советника рапорт в последний раз Бог. Известное лицо приняло рапорт от Бога и улыбнулось.

З

Он физически устал от дворца более, нежели от скачки, и, когда ринулся к себе в номера, стал обнимать всех без разбора, единственно чтоб размять руки. Сколько их было в номерах! Все старые друзья. Он успокоился, только обняв по ошибке Сашку, который вертелся под ногами, и рассмеялся.

– Что ты под ногами путаешься!

Осмотрел всех, как слишком расшалившийся именинник, но на нем уже повис Булгарин.

Фаддей облысел, обнаглел. Крупная слеза повисла у него на красных веках. Он все хохотал, смотрел на Грибоедова как потерянный и переводил взгляд с него на других, с других на него.

Грибоедов сел, беспечный и молодой.

Вот их сколько к нему привалило, старых друзей. Потом он заметил, что в номерах было много и незнакомых. Это ему не понравилось. Он, кажется, был смешон.

И уже тащили его в театр, приглашали, напоминали все сразу о старой приязни, и кто-то боялся, что Грибоедов не узнал его, и прибыл лакей от Нессельрода с приглашением на бал.

Он оставил всех в первой комнате и прошел во вторую, спальную. Третья была кабинетом.

Так останавливались у Демута восточные послы и курьеры.

За ним вполз Фаддей.

– Каково, Фаддей, ветошничает, с кем в войне?

Грибоедов переодевался, лил на голову ледяную воду и фыркал.

Фаддей смотрел на все это как на обряд. В переодевании чувствовал он конец дворцовой церемонии.

Грибоедов скинул белье, отяжелевшее от дворцового пота, как мундир.

– Ты загорел, ты потолстел, – говорил любовно Фаддей и гладил его желтоватую руку.

Сашка ходил с утиральником вокруг Грибоедова.

Между мыльной водой и одеколоном Грибоедов узнал, что Леночка Булгарина здорова, вспоминает его и будет сегодня в театре, что умер старик Корнеев, тайный советник, и жена его тотчас стала хлопотать о втором браке, – «скандал, братец, совершеннейший скандал», – что пошли новые моды на балах – узкие панталоны, в журналах все то же – все ждут его.

Грибоедов на него брызгал водой, и Фаддей говорил:

– Ну свинья, братец, решительно мальчик. Помолодел.

4

Умытый, затянутый, в свежем белье и податливых воротниках, скинув тысячу лет, он вошел в знакомый зал.

В Большом театре был парадный спектакль.

Его черный фрак прорезал толпу, как лодка воду.

Он не был здесь два года, и все изменилось. Зал был заново выкрашен, плафон был лазурного цвета, какая-то лепка отягощала его. Музыка полоскала бравуры Буальдьё и мешала оглядеться.

Он же любил строгую пустыню старого театра, где сцена была эшафотом, ложи – судьями, партер – толпой, театральные машины – гильотиной.

Резкий воздух театральных сплетен был его дипломатической школой, споры с полицеймейстером – войной, ласки актрис за кулисами – тюремными свиданиями любовников.

Где Катенин, где Шаховской, его враг Якубович?

Где Пушкин, по обязанности острящий в первых рядах и вносящий в театр грубый дух парижской улицы?

Но Пушкин подошел к нему и просто протянул руку.

– Рад вас видеть! – закричал он сквозь Буальдьё. – Завидую вам. Вы скачете по Персии, а мы по журналам.

Баки его подходили под класс «вроде жидовских». Какая-то новая независимость обращения была в нем.

– И так же надоело? – спросил Грибоедов.

Он колебался. «Горе» его лежало ненапечатанное, непредставленное, под спудом, он писал теперь другую пьесу. Быть комическим автором одной пьесы – в этом было что-то двусмысленное. Он тогда писал для театра, а теперь он будет поэт. С Пушкиным должно было быть осторожным. Он смущал его, как чужой породы человек.

– Вяземский зовет теперь Аббаса-Мирзу Аббатом Мирзой, – сказал Пушкин. – Завидую вам. Давайте меняться.

Было чем меняться.

Оба увидели, что окружены.

Толпа следила за ними. Бакенбарды не лежали уже, как в его предыдущий приезд, по лицам до подбородков, но сходили прямой линией под галстук, ровно подбритые углом. Все были в узких панталонах, щеголи – в обтяжку. Искусственные букеты лежали у дам тоже выше, прямо на чашке плеча. Плечи и руки стали голее, юбки выше. Глаза под веерами скользили по ним обоим, и бакенбарды шевелились от реплик.

Дамы удивительно обнаглели: подходили, смотрели в упор и шли прочь со смехом.

Выходило, что они до балета давали бесплатное представление. Пушкин взглянул на брегет. К дамам он, видимо, по привычке.

– Из-за государя опоздают, как водится, – сказал он, – я не люблю этого обыкновения, оно отзывается ожиданием в канцелярии и нравами Александра Павловича...

Это было объяснением.

– Государь честен, бодр, – говорил Пушкин уныло и бродил глазами по лицам и плечам, – прям, того и гляди, каторжников вернет. Я, кажется, с ним помирился, – сказал он и посмотрел вопросительно на Грибоедова, – но я не люблю, когда меня заставляют ждать.

– Ну, а он с вами? – улыбнулся Грибоедов. Пушкин пожал плечами.

– Я из зависти к вам начинаю писать историю кавказских войн, – сказал он потом, – и уже писал Ермолову. К вам боюсь и подступить.

Прямо на них шел, волоча за локоть Леночку, Булгарин. Вдруг Пушкин быстро пожал руку Грибоедову и сказал скороговоркой:

– Мы еще встретимся. Я рад. Нас немного, да и тех нет.

Заглушенный бравуром, он хотел скрыться. Но Булгарин, оставив на произвол судьбы и Леночку и Грибоедова, метнулся к Пушкину, радостно захопотал, потом на глазах у всех взял его под руку, ровным шагом повел в угол, непрестанно убеждая, запустил руку в боковой карман и подал какой-то листок.

Леночке Грибоедов поцеловал руку с чувством, и она застыдилась. Фаддей, который так же быстро бросил Пушкина, как давеча Леночку, хрипел и ловко оттеснял от него коллежских советников. Он смотрел на Грибоедова как на собственность и печалился, что у них кресла не рядом.

Служители притушили огни, открылся балет.

Он почувствовал особую легкость всего тела, мускулы собрались. Он стал легче обычного, исчез вес. Немного наклонившись очками вперед, он посмотрел на сцену и откинулся в креслах. Потом огляделся. Лощеные человеческие лысины, белые и розовые плечи тревожили его.

Он был опять молод, ему хотелось смеяться.

Полутемная пустота, шевелившаяся и перекликавшаяся кашлем, была его молодостью. Здесь он находил самого себя: тревога, шедшая из тела, здесь была общим законом, – все тревожились, все кого-то искали глазами и ощущали смятение. Женщины в последний раз поводили головами перед невидимым зеркалом, мужчины снимали пылинки с фраков.

Он владел всеми, возвышался над ними.

Переговоры с Аббасом, угодничество перед Паскевичем, дворцовый сегодняшней парад – были подготовкой, условием для того, чтобы здесь владеть толпой.

Играли Генделев гимн «God, save the king»[13 - До 1833 года не было так называемого национального гимна. Исполнялся вместо того английский. («Боже, храни короля». – Ред.)]. Толпа шарахнулась и смирно встала.

С гордостью он взглянул в сторону императорской ложи. С кем тягаться?

Он понял сегодня двусмысленное существование Николая. Император был неполный человек. Холод его взгляда был необычаен. От солдатского сукна шел запах пудры, белые лосины были сладкого, вяжущего цвета. Пушкин писал ему стансы, Николай покорял его, потому что Пушкин был человек другой породы.

Грибоедов выгнулся к императорской ложе и прищурил глаз. Он перехитрит его.

Были рукоплескания, требовали повторения гимна – российского, национального, того самого, что сочинил немец для английского короля.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта иль-Мутанаббия (915–965). Источник указан академиком И. Ю. Крачковским.

2

Войдите? (фр.).

3

Нежно (ит., муз. термин).

4

Связно, плавно (ит., муз. термин).

5

Домашний очаг (нем.).

6

Не очень-то усердствуйте (фр.).

7

Париж стоит обедни (фр.).

8

Цвет лица (фр.).

9

Дом, домашний очаг (англ.).

10

Веселая банда (фр.).

11

Ералаш (фр.).

12

Вонючка (фр.).

13

До 1833 года не было так называемого национального гимна. Исполнялся вместо того английский. («Боже, храни короля». – Ред.).

Купить: <https://tellnovel.com/ru/yuriy-tynyanov/smert-vazir-muhtara-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)